



САНУ

Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти.

Вторая книга Моисея, Исход, глава 21, стих 15

В эту ночь Гаре снился сон, будто отец его, крепкий, всегда сдержанный, легко отбрасывает дубовую дверь и впускает в избу ароматы горького костра, утренней росы, окалины металла и свежесбитой птицы. Раскидывает в стороны сильные руки и обнимает дочь Милку. Она младше. Сперва ее, а потом и его, Гарю, прижимает к груди. Тут же при входе в углу отец ставит ружье, грозное, манящее, такое для Гари желанное, и, поцеловав мать, садится, не раздеваясь, за стол.

— Батя, батя, — кричит во сне Гаря, вцепившись в крупную пуговицу отцовского бушлата, — а ты чего не умываешься, полевое с себя не снимаешь?

— Так ведь съели уже все, гляди, Гаря. И мне сызно-ва в лес пора, — добродушно отвечает отец, подхватывая сына к себе на колени.

— Как съели?.. — нерешительно повторяет Гаря, и на его глазах мама выносит шкворчащее жиром блюдо с кряквой, ставит на стол.

Запеченная, еще лоснящаяся корочка птицы обещает хрустящий восторг, а дмящееся мясо — нажористое удовольствие. Живот у Гари разом подводит, скручивает в ожидании мясного насыщения. Но вдруг это большое, неразрезанное еще лакомство распадается на сочные золотые куски и враз съедается. Гаря видит теперь лишь остатки жира, чеснока, пряных трав на блюде. Тем временем мать уже беззаботно хлопчет в бабьем куту́, сестра на полу запускает волчком катушку от ниток, а отец шепчет что-то невнятное горячим своим дыханием. Лишь деда в комнате нет, и Гаря, не видев того, кто съел весь обед, раздраженно думает недоброе на него. Ведь именно дед любит приуснуть где-то в тихом углу дома после питания.

Обозлившись решительно, Гаря вскакивает с коленей отца и пробуждается, обнаружив себя на печи.

* * *

Вихрем прыгнул на пол Гаря, собрал на себе штаны, различил растопленное горнило и похлебку, закипающую в нем, — значит, вернулся с охоты отец. Вот и дверь отворилась, и зашел родитель с дровами — точно леший после долгого похода, поизбитый непогодой и холодом, с разлохмаченными бровями, усталыми черными глазами, густой, небритой, жесткой бородой.

Отец заботливо встречал Гарю, жалел, что не добыл ничего лакомее воро́н, и обещал преуспеть в иной раз. Мать возилась с варевом; Милка накрывала на стол; дед, лежа на полатах у окна, посасывал маленький сухарик, завернув хлеб в тряпочку и сберегая силы и живость.

Годы высушили деда, обсыпали голову снегом, но он все так же бойко шаркал ногами, а в повадке его и в наружности никак было не различить ни приговора, ни робости. Дед по-прежнему держал крепость. Пусть уже и не занимал главное место за столом, но все еще умел разместить себя в доме так, чтобы быть у всех на виду, чтобы найти для себя от других реакцию.

— Первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Мертвечины, звероядины не должно есть... — читал в голос молитву отец, пока мать умещала чугунок с похлебкой на широком столе.

Унылая трапеза ждала семью, но и вороний бульон для оголодавших сродников был заветным угощением.

Давно обезлюдели окрестности, опустели с тех самых пор, как обидели бесчестно поселяне живших на краю села цыган. Тихо они стояли домиками и повозками неприметными, служили окраине и ремеслом, и песней, и выручкой. Но обвинили в деле темном, позавидовали-повыгнали, а еще дело страшное с девочкой недоспелой сделали... И ушли из краев тогда и птица, и зверь, и достаток, непогода крутила поместности, позабылись дороги, заволочились пути мимоходные. Засобирались селяне все да по весне ушли, один лишь двор захотел... да и остался.

— Мерзкая птица — ворон... Мяртвячину клюет, падло всякое, — подбрасывая дрова в печь, скрежетал дед. — Мало того что зима лютая, маемся и холодом, и теменью, так еще и нечистое жрать. Поизгубим души свои, сказано в Писании...

Но отец не позволил деду окончить:

— Хватит дрова жечь! Не ты ходишь за ними в чашу. Задумали же уже: зиму переждем, а весной отправимся. А день и вправду стал бесконечно слабым. Ты бы лучше сказал, дед, где рыску свою в лесу спрятал. Сухарь, вишь, по-прежнему жуешь, значит, не вышла, осталась схоронка. Годы твои трухлявые, много не надо, а нам в подкрепление. Ослабну — все передохнете.

— То ж моя рыска, от пришлых делили. А будешь на старика наседать, кто о тебе затем узаботится?.. Угли, знай, бывают лучше костра, коли ночь длинная. Ты бы плесенью позанимался. Почти до крыши истьбы дошла. Я тож поковырял, пообсыпал кое-где. Но тут надо по опыту скоблить, мож и с заменой бревна, с приглубой вырубкой. По селу пошастал — язва эта изъела и другие дома, стоят-порассыпятся, дай время. А и цвет такой гнилой замогильный, красно-зеленый какой-то, неприятный, холодный.

— Язвой потом займусь. Выдай рыску!

— Вот пристал, заволновал без повода! — недовольно заскрежетал дед. — Насыпай варево, сноха. Приговорит так до телесной немочи.

Закончив трапезу, семья разбрелась по углам. Горя с Милкой забрались на печку слушать дедовы вечерние побасенки. Мать недовольное что-то все высказывала отцу, упрекала в робости, и он наконец пообещал, да так пообещал, что вышла она к детям уже довольная.

— Так вот, луну нерушенную обзывали прежде цыганским солнцем, — сказывал дед детям. — Она же с огнем на земле в полюбовниках. И кой найдется как встрять меж

ними человек, успеет зажмурить желанное да цыганские принять обряды, получит богатство неизмеримое. И важно тут поуспеть и ни в кой не вторгаться в начальный день ущерба луны, в день мясника, мученика Варфоломея, а то ж и замучат, и ошпарят, да кожу сдерут... В дни убывания у чертей, знашь, какая одолевает сила в извечной борьбе света со тьмой...

— Что ты, дед, на ночь мерещишься, — прервала деда мать. — Тикайте, дети, спать. — И стала прогонять детей от печи по кроватям в загороженные закуты избы.

— Пойдем, отец, обсудим... — Только и видел Гаря, как родитель прихватил деда под локоть и поволок к выходу из дома.

Оказавшись в сенях, круто деда к себе отец обернул, прихватил за ворот истертой кофты и приговорил:

— Значит так, старый. Некогда чаять о справедливости. Каждый должен сберечь теперь семью. Вместе мы крепь, а врозь — язвимы. Рыска твоя нужна, чтобы перетерпеть, переждать, когда достанет на охоте дичи. Хватит зубы сжимать, скажи, где припасы...

— Дьявол совсем поизвел бабу твою, крутит в ней, источая тело, бури да ураганы, наставляет грешить против отцов. Не слушай ее, не сдавайся, завтра же пробивайся глуше в чащу, выйдет навстречу сытая к тебе зверина.

— Гряя здесь ни при чем. Посидишь в сенях, обдумаешь. До утра не решишься — околеешь. И собирайся побыстрее, сквозь сон удары твои могу не расслышать. — И стукнул деда отец в живот, остановив на миг старика дыхание.

А дед так и осел, захрипел на месте, но крепился почти до самой рассветной поры, а когда совсем оледенел, застучал в двери, принялся сознаваться, где доставшиеся ему по разделу припасы.

* * *

Утром Гаря пробудился от точения ножей. Когда выбежал он полуодетый на улицу, отец уже выволок из сарая санки (одни крупные для себя и двое поменьше для детей) и приступил к полозьям, шлифуя их до блестящей остроты.

— Батя, мы что, на овраг пойдём? А как же дедушкин запасник? Шибко так из-за него вчера ругались...

— Обернусь уже после каталки, Гаря. Ступай омыться, перекусим и рванем. — И отец задорно подмигнул сыну, а тот убежал в избу, чтобы обнять мать, радуясь неожиданному времени впереди со своими родителями.

Только дед недовольно вылез за внуком на улицу, прищурил глаз, недобро обсмотрел затею и хотел уже было идти в дом, но отец остановил его словом:

— Ты тоже собирайся, старый. Вместе мы теперь, до конца.

— Э, нет, без меня прокатаетесь. Поостерегу хату... — И, различив несогласие во взгляде отца, добавил: — За рыску боишься, что ли? Не буду я ее трогать, переособливать...

Но не поверил деду отец, и семья по очереди катила старорого в санях сперва вдоль леса по ухоженной дороге, а далее и по невысокому валежнику до самого в глубине чащи оврага. Окрестность кругом вся стояла притаившаяся, ни

птиц, ни зверя, ни шороха. Замерла природа, будто течение времени здесь и вовсе остановилось.

Овраг окружен был со всех сторон непроходимым лесом, а на дне его ютилось замерзшее озеро. Крутые склоны оврага почти все были усеяны наклоненными частыми осинами, но в месте выхода семьи из леса склон налетающим без конца сильным ветром был оголен и пригоден для санок скольжения.

Накаталась семья, насмеялась до изнеможения. Даже дед сперва бездельем угрюмый, не способный спуститься на санках, а затем по склонам выбраться, замерзающий, оставленный на краю, в конце концов и сам разгорячился весельем и радостью внуков.

— Ну будет, Гряя, собирай детей и отправляйтесь. А я умещу деда, и нагоним вас, — обратился отец к матери, подкатывая к деду сани. — Полезай, старый, припомощь тебя. — И он стал прихватывать к саням ремнями деда, да так опутывать крепко, что тот забеспокоился.

— Ты чего удумал, сын? Я и так уже околевать собираюсь... Брось, не уступай душу дьяволу.

— Не оглядывайся, уходя... — только и проговорил отец.

— Значит так. Что ж, я люблю тебя, сынок, а ты корень древа своего изживаешь.

— И я тебя, но этого недостаточно. Прощай.

Отец вдруг столкнул крепко привязанного к саням деда с оврага, и последнее, что различил Гряя во взгляде пра-родителя, было страшное выражение дедова лица, содрогающееся пониманием смерти, но хранящее крепость самообладания, а еще ненасытную жажду мести.

Испуганные, поутихшие сродники дошли до дома. Милка в слезах убежала к себе в кут. Гаря, будто все понимал — всю решительную необходимость, всю губительность содеянного, взятого за семью на себя отцом, ради них с Милкой, ради матери... Но и он не сумел сдержаться: отбросил сани свои так ярко, так остервенело, точно никогда впредь не собирался к ним прикасаться.

— Собирайте на стол, обделенные, будет от деда сегодня поминальный стол. Припомним его дела и поступок остатний на благо и во спасение... — приказал отец и отправился за рыской в лес, попрощавшись с матерью.

Изба без отца вмиг стала какой-то жалкой, сырой, неприютной, ветрами болючими продуваемой. Сродники давно засели за стол, но все не было и не было возврата родителя.

Не дождалась скатерть угощения, позабылись и дети в полуголодном, беспокойном сне. Лишь мать все ходила ночью по хате, кружилась на стуже вокруг дома, пытаясь различить огни. Но в конце концов и ее одолел полусон, и осела она, не раздеваясь, у входа на лавке. Но и тогда страданиям ее не случилось прекратиться, долгой пыткой ночи кружил Граю нескончаемый кошмар.

Виделось ей, как в бессилье скрюченный на морозе вгрызался зубами и руками в крутой склон дед, как он плакал и выкликал проклятия, как было уступил жизни поражению. Но вдруг зашептал, закашлял страшные слова, закрестился, наоборот, оборвал гайтан и запустил прочь от себя нательник. И нашептал себе на проклятие страшное существо, не стоящее на месте, все время из-

ломомдвигающееся в пространстве, неясное, исчезающе-прозрачное, сливающееся с мраком ночи.

И заказал дед существу, чтобы тот, другой, молодой и сильный, канул со света вместо него, чтобы не было более ему старому в семье указа и опасности. Посулил за такое судьбы разрешение, беспредельно отчаявшись под гнетом обиды, любой от себя изъян, любое от души или тела избавление. И налетело ломающееся во все стороны существо, исчезающее в подлунном мраке, на деда и долго терзало его, вскидывая вверх длинные костлявые руки-поветвия, изымая нетелесные части его души, точно потроха вытягивало у птицы, на убой назначенной...

* * *

Пробудилась мать, когда солнце разъярилось уже почти к полудню. Дети гладные шептались о чем-то своем у окна, беспокойно поглядывая на утомившуюся Граю, тайком выбегая за двери, чтобы расслышать задержавшегося в лесу родителя, чтобы первыми схватить его поцелуй и объятия.

С ужасом мать отходила от привидевшегося сна и еще больше растревожилась неявлению отца.

Вдруг зашаркали с улицы неспешные шаги, закрипели петли, и, сотрясая с себя понабившийся снег, будто отцова проявилась спина в проеме. Устремилась навстречу одубевшему с мороза Граю, но увидела взгляд обернувшегося к ней иного лица — посеревший, окоростившийся дед смотрел на нее, пока в спину ему разъярялся ветер, покрывал снежной крупной стены и дома порог.

— Деда, деда! — вцепилась в старого Милка. — Как я рада, что ты приявился! Я проплакала за тебя всю ночь, а ты вона, крепость!

— Где твой сын? — только и спросила Грая, не имея сил скрывать негодования, догадки свои жуткие и подозрения.

— Почем я знаю? Враз от оврага с вами ушел. Вишь, забрал рыску да кинул, а? — заскрипел осипшим голосом дед. — А мож, и нет, тож не было в схоронном месте рыски, обманул я его, чтобы себя поизбавить. А и равно не помогло. Чего удумали... на санках... — И дед недобро посмотрел на мать. — Волки, значит, али вепрь... кто теперь разберет. А из запасов своих кой-чего я, сноха, принес. Покрывай на стол, приокончим, так снова схожу. Глядишь, и забудется стужа. Да и в лес отправимся с Гарей. Давно уж его пора, отец совсем обабил, теперя я в руки парня возьму. — И дед всучил матери тугой мешок съестных припасов, направившись к мойке.

Мать задумала про себя зарубить деда первой же ночью. Выскочила в сени приглядеть инструмент, но вдруг как-то нечаянно сгорбилась, приосела, вспоминая детей уязвимых, незаступных своих, сознавая, что без крепкой руки, без дедовой рыски не выжить им в лютом краю.

В этот час подошел неслышно сзади к матери дед, приподнял, приобнял за плечи и скрипуче посетовал, чтобы не жалела мужа более мать: значит, время, посему судьба. Мол, и он не думал утратить сына, нет ведь в русском и слов таких, означающих утрату дитя родителем. Есть вдовцы, есть и сироты, но нет способа, дабы описать его

дедову боль-утрату по сыну, пускай и заступившему пятую нерушимую заповедь.

— Займусь теперь плесенью во дворе, а ты накрывай да зови, как будет устроено. — И дед подвесил крупный охотничий нож на шершавый гвоздь в стене, прихватил топор и вышел на улицу.

Вскоре расслышали сродники дедов настороженный крик, созывал близких старый на улицу, ударяя обухом топора в двери дома.

Плесень совсем прихватила, проросла снаружи дом. Многим больше стала за прошедший день — добралась и до крыши, и до углов, проковыряв в разных местах в сопряжении стен целые дыры, грозящие провалить, обрушить преграды. Язвы на доме во многих местах скалились деду зеленоватыми и красноватыми яминами, углублениями разных окружностей и размеров.

— И если едкая проказа на доме распространилась, то нечист он, — проговорил дед и ударил топором в стену. — И должно разломать сей дом и дерево его, и обмазку вынести на место нечистое...

Продолжал врубаться в дерево дед неистово, призывая и Гарю, остолбеневшего, себе на помощь.